



Живет в Саулкрасты (Латвия).

Катарина. Улдис

Катарина Линде знала о мире всё:
вежды ночи следят за нею, вечно отверсты,
добрый будет низвержен, озлобленный — вознесён,
а иная болезнь равна социальной смерти.

Оказалось — люди пишут издалека,
присылают деньги (хоть Кате и не просила —
было нечем: ни сил, ни мыслей, ни языка,

знай лежи себе — поломанная лесина).

Оказалось — кто-то любит её саму,
а не только рисунки-фото-стихи-рассказы.
И она разгоняла зыбкую полутьму —
и учила слушаться голос, тело и разум.

И казалось зеркало — воспалившийся шов,
поседевшую чёлку (обрезали наспех, криво...)
Катарина смотрела и думала: хорошо.
Некрасиво и жалко. Страшно и больно. Живо.

Улдис Калейс не удивился её звонку.
Как-никак — друг семьи. Лучший врач. Именит. Успешен.
И, конечно, ему написано на веку
защищать и спасать этих слабых и нежных женщин.

«Ты сама виновата. Будешь всю жизнь болеть». —
«Но в больнице пишут...» — «Да что ты съёшь под нос мне?!
Я всё знаю. И я помогу». — «Извини — но нет».
...и спина прямая, хоть ноги-то — еле носят.

Улдис думать не думает: это уже азарт.
Поломать того, кто — впервые — ему перечит.
И важнее — не осмотреть, а сказать в глаза:
без меня так и будешь горемычной-увечной.

«Говорят, тебя лечит какой-то вчерашний студент». —
«Извини, я сама выбираю, где мне лечиться». —
«Ты ещё приползёшь ко мне». — «Извини — но нет».
...так глядит свысока пленённая соколица.

Катарина бредёт по кромке морской воды.
Собирает гальку. Плавает, сколько может.
Знает: бережно море гладит её следы,
для неё согревает солнце песчаное ложе.

Улдис ёжится: лето сырое в этом году,
выползают на камни греться лесные змеи.
Не поймёшь этих женщин. Что за упрямый дух!
Ишь, сказала: «Я поправилась — я сожалею».

Всё моё

Это всё моё, всё приятно мне и понятно.
Приглушённые пятна:

гальки серая россыпь, хвои чёрная зелень.
Прибедняться мне ли? —
я росла на этих ветрах, голубых и белых,
и жила, и пела.
Это мой народ: рыбаки и врачи, продавцы и судьи,
городок, который я — защищаю грудью.
Ничего такого в этой природе и этих людях —
и уже не будет.

Извини, пожалуйста, это мои реалии —
уж какие дали.
Не чертог, не парк, не орущая кошкой пава —
известняк, канава.
Я хочу притерпеться, устроиться или убиться,
не смотри мне в лица,
разве ты узнаешь: я не ведьма, не царь-девица —
я сосна, я лисица.
Разве ты услышишь не Старшую Речь из книжки —
а простой латышский?

Хватит врать: ты не помнишь меня, никогда не помнил,
ты никто мне,
что ты знаешь о мелком заливе, песках упругих,
о гусином луке,
об осеннем солнце — неласковом, но лучистом,
о кассирах и машинистах,
о раскормленных кошках на крохотном бедном рынке,
о груздях в корзинке?
Что ещё ты скажешь, кроме «спасаться нужно?»
Я читала сказки.
Они — не повод для дружбы.

на специальных курсах
нас, судебных работников,
учат не выгорать.
вспоминать, где реальность.
держаться за хобби и спорт.
не бояться психологов.
человек почти ко всему привыкает.
так и я
привыкла к разбойникам и убийцам,
и династиям мелких воришек.
(подросток вышел
из тюрьмы, узнал — посадили брата.

напился.
по привычке залез в магазин —
и заснул. конечно, сразу поймали.)

на специальных курсах
нас учат работать с редким неадекватом.
сложным клиентом, если политкорректно.
он приносит своё раздражение —
и орёт: я знаю,
вы все куплены,
вы коррумпированы,
вы насквозь прогнили,
вы считаете — я мигрант,
вы ненавидите русских.
(я приставлена говорить с ним по-русски.
без акцента, прошу заметить.)
да, до пройденных курсов
я хотела бы дать ему в морду.
но теперь говорю:
извините, мне очень жаль.
через двадцать минут у меня заседание.
так что лучше
давайте писать заявление.
и объясняю,
где в словах — смягчение,
где — долгота.

но есть вещи, к которым
никогда невозможно привыкнуть.
это все дела с сиротским судом.
нет специальных курсов
по включению головы,
а не сердца, души и прочей
внутренней (и такое бывает) богини.
и когда допрашивают совсем мелких,
то они говорят вот этим спокойным и ровным тоном
обо всём, что с ними делали их родные.
это тон человека, который должен быть сильным.
я таким говорю сама
в кабинете помогающего специалиста.
и не плачу.
(эти дети — тоже не плачут.)
а потом их родные
достаёт фотографии — те, где они ещё вместе.
и суют их суду, ответчику, мне, свидетелям...
словно тщатся сказать:

мы ещё семья, ведь правда? и всё нормально?
и вот тут-то
спазм хватает меня за горло.
я пытаюсь откашляться.
вспоминаю, что не поможет —
и втыкаю палец в эту ямку под шеей,
как стилет.
и снова могу говорить.

...это все дела про беженцев и мигрантов.
я не знаю, есть ли специальные курсы
для правителей, чтобы они решали
свои проблемы не за счёт населения.
чтобы помнили, что люди, однако, — живые,
их нельзя железом, как сказал мой любимый писатель,
их нельзя законом, направленным против природы,
их нельзя безработицей, голодом, разрушением дома.
и пока в моей ленте
разворачиваются баталии,
кто правее из сильных мира сего, —
я сижу возле беженца в зале и перевожу.
председательствующий смотрит, не отрываясь.
мой клиент говорит: он, наверное, очень строгий?
я всегда отвечаю: нет, всё не так уж страшно
(ободряюще улыбаясь) —
и молчу о том,
что судья недавно к нам перешёл —
и он попросту хочет выглядеть старше
и значительней,
что без алой мантии,
в повседневной одежде
он похож на вашего друга или соседа.
что вчера он прятал улыбку в бумагах,
услышав смешную шутку старшей коллеги.

...у меня был парень в отдалённом местечке
под названием Муцениеки.
там есть центр размещения лиц, ищущих убежища.
приезжая к любимому на автобусе,
я нередко видела
этих лиц. эти лица, вернее.
самые разные расы, цвета кожи.
в то время было больше всего сомалийцев.
и пока продолжают
баталии в моей ленте
(...они живые, их нельзя новостями) —

я думаю:
в этом году, наверное,
будет больше белых.

